

В пять тридцать фанфары извлекают из небытия. В полной темноте, с желтыми пятнами фонарей за неплотными шторами. Р-р-р-раммм!!! Со-юз не-ру-ши-мый...

Ненавистные звуки радио по утрам. Вставать по будильнику, зимой, в пять тридцать утра, и под громкое радио при электрическом свете собираться на службу. Муравьиная жизнь за стеной, хлопотливое гудение примуса, детский топоток — кто бы рассказал, как и где научаются люди жить.

Регина Молчанова — королевским именем Регина ее никто не называет, сократилось до Гули — живет на грани опоздания, как на краю пропасти. Она несется, задыхаясь, по проспекту Коммунаров — он равен шириной средней московской улице, дворники шкрябают лопатами по бесснежному асфальту, мимо стройки Дворца культуры, массивно-арочного великолепия на улице, конечно же, Горького, по алее — весной высадят прутики берез в честь десятилетия Победы — и пуховый платок сбивается на голове, и облезлая роскошь — чернобурка тощего зимнего пальто, поправляемая

потной рукой, оставляет на ладони свои черно-седые волосинки.

Она не завтракала, хотя соседка Верка подписывала ей свою яичницу — но при одном взгляде на ломкий кружевной край, где золотистый, а где коричневый, ее затошнило; а кофейный напиток с молоком подернулся пенкой: сухие морщины со склизким исподним.

С пересохшими губами и горлом, шумно дыша открытым ртом, она врывается в закрывающиеся двери электрички, и спасибо дядьке, что поднажал сзади, спасая, конечно, себя.

И вот за окном тамбура начинается свое: из непроницаемой темноты проступает страна. Сначала пролетающими встречными — из невидимого пространства ниточка свиста, гул приближения, и с победительным ревом ударная волна света и грохота, и понеслось мелькание — желтый-темный, желтый-темный, спешные синкопы: ду-дум, ду-дум, цезура, ду-дум, ду-дум... Скрылось, и вновь в окне ушанки, кепки, платки, черные точки глаз того долговязого, который втиснул тебя в это месиво. Чернота синееет, и наконец в ней обозначаются зазубрины пронсящегося леса.

Где-то на середине дороги должна появиться речка — по ноябрьскому времени суток она оказывается уже в сером, а вот в декабре будет еще не видна в непроницаемом темно-синем. Штрихи осинки на берегу, покрытом нежным первым снегом, прутья кустов торчат из-под него, и на воде — белые кучки приютились на корягах и отмелях; дрожат от пронсящегося состава редкие

ПРОЛОГ



ржавые листочки, и стальная вода лениво ополаскивает ветки поваленного в речку дерева, а корни его с промерзшей землей еле успевает отметить бегущий от картинке к картинке и назад зрачок. Эти скачущие глаза видит перед собой Регина, отвернувшись от окна, и думает, что женщина, к которой она притиснута, даже не догадывается, как дико выглядят ее глаза, а еще — что у самой только что были, наверное, такие же.

А у долговязого взгляд неподвижен и страшен, и он как-то слишком прижат к Регине, теснота тоже имеет свои градации, и она, сколько может, оттирается от своего недавнего благодетеля, пытаясь по крайней мере повернуться к нему боком, но получает тут же справа от невидимого ей соседа «стойте спокойно, гражданка» и уже с опаской взглядывает в светлеющее окно тамбура, где, не стираемый змеящимися проводами и мелькающими столбами, замер остановившийся взгляд странного попутчика. Он смотрит теперь не на Регину, а, вполне мучительно, куда-то вверх, и от его тяжелого дыхания колеблется пух на ее платке.

На подступах к Москве в совсем жидком сереньком — дома, двухэтажные желтые крепыши, трехэтажные, с деревянным верхом, бледнеющие огни фонарей, еще более бледное небо с тающим пятнышком луны.

Борьба за выход на «Москве-Товарной»; жители тамбура, пережившие густое подселение на промежуточных станциях, пытаются пропустить выходящих, и тут-то долговязый, то ли не устояв, то

ли что, вцепляется в ее плечо, и судорога проходит по его сухим птичьим пальцам, на которые, вздрогнув, косится Регина.

Он последним поспешно выходит на этой самой «Товарной»; исчезая из рамки двери и запахивая плотнее пальто, быстро взглядывает на нее своими черными провалившимися глазами и тут же отворачивается: высоко подбритый затылок, драная шапка с завязанными наверху ушами.

Двери закрываются.

Черно-белая размытая репродукция из Дрезденского каталога. Белое тело, обточенное как галька, рука заплелась вокруг головы, другая, ладонь ковшиком, укрыла чресла, нога обернула ногу — свившийся кокон покоится, как в тяжелой воде, в своих драпировках и пейзажах, их не касаясь. Это не сон, это забытье от «забыть», отвернуться и не видеть, что там за жизнь, на горах и в пространствах, но, похоже, и там все замерло. Или на репродукции не разглядеть. Регина листает каталог. Дала посмотреть заведующая редакцией Княжинская. Ей принес знакомый художник.

Перед Региной — спина редакторши Серебровой, легкие завитушки и цветная шаль на спинке стула. Спинка обтянута зеленым дерматином.

В дверь просовывает голову лисичка Галя, корректор, улыбается, шныряет глазами по углам, как выискивая кого, потом фокусируется на Регине, подмигивает:

— Пошли?

— Куряки, — не отрываясь от верстки, говорит Княжинская, — губите лучшие годы.

Княжинская сама курит с четырнадцати лет.

На лестнице еще холоднее.

— Зайдет сегодня этот твой, — снисходительно говорит Регина лисичке, дозируя словами порции дыма. — Княжинская сказала, каталог заберет, Дрезденский.

— Специально за каталогом придет? — недоверчиво спрашивает лисичка. — Может, это только повод?

Регина пожимает плечами.

— Ну, хоть ты наконец поймешь, о ком речь, — вздыхает лисичка.

Регина пожимает плечами:

— Вечером, наверное.

Таинственный незнакомец. «Вон-вон пошел, да вон же, смотри, ну где, всё, свернул, что ты в самом деле, клуша какая».

Регина не любит малых сих, грешна. Малое, закутанное в платок, держит соседку за руку. Соседкина дочка Марина. Да и с чего ей, скажите, любить эти бесцеремонные существа. «Тетя, а что это за штучка у тебя на лбу?» — это менее воспитанные. Прикажете отвечать им «прыщ»? Более воспитанные, не сводя глаз со злополучной «штучки», горячим шепотом спрашивают то же маму «на ушко». Находясь в полшаге обычно. «А у тебя есть свой маленький ребенок? А почему?» Да что вы, ни с чем не сравнимо корчиться под вопросами этих маленьких инквизиторов, наивных садистов,

за что же прикажете их любить? Ну, сейчас-то, в девятнадцать, Регина еще может отчитываться только за прыщ, но не так далеко время, когда ответит за все.

Она боится их, потому что ревнует к детству, выкинутая из этого уютного местечка, но не забывшая его. Думаете, она не помнит перестук счетных палочек в коробке? Мокрый синий след от химического карандаша — сначала на языке, а потом на шершавой бумаге? Она и сейчас готова, затаив дыхание, дрожащим пальцем стягивать намокший слой с переводной картинки, которая — не дай бог — вдруг сморщится и поползет вслед за снимаемой бумагой. А биты, биты, отполированные ладонями деревянные биты для лапты! Свежие квадраты классиков на весеннем асфальте: он высох не везде, но не беда, можно провести и по мокрому мгновенно темнеющую линию. Кто и за что лишил ее всего этого?

Она боится, что они догадаются: она такая метр семьдесят девочка, и — а ну, кыш, вон пошла! Они первыми догадываются, потому что знают, как ведут себя взрослые, а эта — не так себя ведет. Кто такая, что такое на лбу, а ну поди сюда! Она пытается «по-взрослому улыбнуться ребенку», ребенок круглыми чистыми глазами с недоумением смотрит на испуганную гримасу: «Мама, а что у тети на лбу?» — «Тише, деточка, нельзя так громко спрашивать, тетя тебя услышит». Да уж не глухая.

В воскресенье они с Веркой пошли за керосином. Это недалеко, на рынке. Каменный са-

рай с зарешеченным окошком. Проходят через запахи главным образом — запахи создают свое пространство, не совпадающее с их источниками. Уже на хозтоварах веет рыбой, хотя она будет только через три прилавка, левее тетрадки с клеенчатыми обложками сдают территорию наплывающему аромату соленых огурцов. Под ногами серое месиво — пять минут назад за рыночными пределами оно белым хрустом отзывалось под ногами. Керосин чувствуется слегка там, где конфеты, а около барыг с ношеной одеждой уже уничтожает все остальные запахи. Керосиновая очередь начинается за магазином, оборачивает его собой. Самое неприятное — дверь, ибо держать ее открытой, не прерывая цепочки, холодно, а позволить отрезать себя от вошедших опасно — того и гляди нырнет кто-нибудь «просто на минуточку узнать» и пристроится, пока ты нервничаешь вовне.

Магазин разевает дверь. Регина пытается протиснуться. «Тетья Гуля, а что у тебя на пальто испачкато?» О, еще это. Вчера как раз в обед Серебровва, выбегая к проходной за своими таинственными надобностями: «Гулька, а ты где-то приложилась, смотри!» Сзади на подоле пятно с пол-ладони, от него застывшая трасса капли, теряющей в дороге силы, и сама капля, уже выдохшаяся, не дотянувшая до края, замерла маленьким бугорком. Молоко — не молоко, с недоумением к носу, потом чуть растереть пальцами, опять к носу, шут его знает, что такое, в любом случае иди замой — и на батарею, к вечеру подсохнет, а она перебира-

ет смутные дорожные воспоминания, в которых на мгновение всплывают и остановившиеся глаза долговязого из тамбура, но, не обретя разумной мотивировки, проваливаются в небытие.

Высохло, но замыла плохо. Тетя!..

Новый год встретили тихо. Веркиному сожителю надо было утром на дежурство, другая соседка, Диля, дворничиха, в пять встанет мести двор, да и дети. Выпили — и по койкам. Только они с Веркой засиделись.

По клеенке разлился чай, в голове — ленивая мысль, что надо вытереть, ходики, белая кружевная салфеточка, за окном — густо-синее с желтыми бликами. Верка взялась вышивать анютины глазки на полотенце — чего время терять. Желто-лиловые, бархатно-лиловые бесхитростные цветочки. Верка немолода: ей тридцать пять. Резкие черты лица, серые волосы с косым пробором и жидкая косичка венчиком, желтоватая кожа, тяжелые умные глаза. Муж — понятно где, пока не вернулся, хотя есть надежда. Двое детей: Мариночка, любитель задавать вопросы, и восьмилетняя Катька. Верка говорит, не отрываясь от вышивки:

— А я думаю, грех — это уклониться от того, что на тебя идет. Надо через все пройти, что для тебя придумано, через самый грех в том числе.

— Чего? — говорит Регина. — Уклоняться от греха — грех?

— Ну да.

Веру парадоксы не пугают. Ну да.

— Ты же не знаешь, куда это все вырулит... Все сплетено.

Впрочем, это может быть что называется подведение базы. Пока муж «там», Верка сошлась с милиционером, на десять лет моложе. Кузин, все зовут его по фамилии. Приходит, часто остается до утра, скрипят по ночам за стеной кроватью, утром крикает в ванной, Регина привыкла. Кузин хочет жениться и своих детей.

Странно иногда бывает: самые незамысловатые вещи вдруг пробирают тебя до самого сердца. Вот это сочетание испачканной клеенки, чуть тянущего по ногам сквозняка, странных Веркиных слов, может быть, еще чего-то: не то часов, не то запаха табака от собственных пальцев, когда подносишь руку к лицу, — и вдруг происходит некая химическая реакция, дающая, например, чувство устроенности, защищенности и тепла, какое могут дать только вещи и никогда люди.

Пора и на покой. Она стоит босиком у окна, по очереди греет ледяные ступни об икры, занавеска прильнула к спине, за окном редкие снежинки, лавочка припорошена и земля; на проспекте, тоже присыпанном, след недавно проехавшей машины. Но главное — дом напротив, где всего три освещенных окна, а за ним — не видна, но есть решетка парка, а левее — бараки, и всё, вот в чем был главный восторг: на этом город кончался. Он маленький, а тебе в нем просторно, он ограничен, и вы соответствуете друг другу. Его можно пройти за полчаса, его можно охватить

пониманием. Это норка, а жить-то и можно только в норке, в бесконечности — нельзя.

Ноги и в кровати никак не могут согреться, а пока не согреются, она не заснет, а когда засыпает — последняя нежная мысль, что что-то в пятницу вечером случилось очень хорошее, только что?

В пятницу вечером наконец пришел тот самый лисичкин незнакомец.

Регина была одна, все разошлись, а она заработалась, опоздала на первую пару, решила ехать в институт ко второй и выжидала. Княжинская, одеваясь, сказала:

— Может зайти художник, за каталогом... Вряд ли, но мало ли.

Сказала подчеркнуто небрежно, но Регина подчеркнутые небрежности хорошо чувствует. Да и были по редакции разговоры с намеками, что не все так просто у заведующей с этим художником, влюбленная лисичка Галя ревновала, например, очень.

— Мумия. Высохшая мумия. Не на что надеяться. Его привлекает только ее интеллект, а больше от нее ничего не надо. Только интеллект. Конечно, говорит хриплым басом, слова тянет.

Давно не заходил, каталог пролежал с месяца, стало быть, в размолвке.

У Регины с интеллектом, в отличие от Княжинской, не очень. Хоть и училась на «ист.-фил.», так в Потемкинском и на вечернем, и училась средне — обычная студентка. Но чутье было на как раз че-

ловеческие отношения, на полунамеки, на понижения интонаций и опущенные глаза — это все было как примятая трава и надломленная ветка для фениморовских следопытов. И просто чутье в чистом виде. Вот она точно знала, что лисичке — не светит. Даже не видя его, только по ее, лисичкиным, интонациям, ибо человек всегда сам в глубине души знает, светит ему или нет, и сам себя выдает. А с Княжинской что-то определенно было, но было непросто.

Он оказался очень бледным, до синевы, и со светлыми глазами, не то серыми, не то зелеными. Взгляд острый до того, что, кажется, сам его боялся. Только делал мгновенный снимок и сразу прятал глаза.

Открыл дверь; мазнув взглядом по комнате и отметив в ней присутствие человека, но не того, сделал шаг через порог.

— Здравствуйте, — сказал он, глядя вниз и в сторону. — Софья Михайловна ушла уже?

— Да, — сказала Регина с другого конца комнаты.

Только тут наконец посмотрел на Регину, секундно.

— Меня зовут Алексей, фамилия Половнев, — сказал он ножке ближайшего стула.

Вытертое кожаное пальто, грубой крепкой кожи, поэтому и вытиралось до белых проплешин, но не рвалось. Кепка. Лет тридцать пять — сорок. Кожаная папка под мышкой.

— Я каталог хотел забрать, может, вы знаете...